

Глава III. Смятение мыслей

Жизнь продолжалась. Каждый день приносил новые противоречивые мысли и эмоции. Особенностью, которая волновала меня больше всего, было неравенство, которое я видела повсюду. Я узнала, что рацион обитателей Первого Дома Советов («Астории»), был и больше и качественнее, чем то, что получали рабочие на фабриках. Безусловно, и этих порций было не достаточно, чтобы поддерживать жизнь – но никто в «Астории» не жил на одних только этих порциях. Члены Коммунистической партии, квартировавшие в «Астории», работали в Смольном, и порции в Смольном были лучшими в Петрограде. Кроме того, торговля не была полностью подавлена тогда. Рынки делали прибыльный бизнес, хотя никто не мог или не хотел объяснить мне, откуда бралась покупательная способность. Рабочие не могли позволить себе купить масло, которое тогда стоило 2000 рублей за фунт, сахар – 3000, или мясо – 1000. Неравенство было таким очевидным на кухне «Астории». Я часто ходила туда, хотя приготовить еду было пыткой: борьба дикарей за дюйм места у плиты, женщины жадно следили, чтобы ни у кого не оказалось дополнительных продуктов в кастрюле. Какие начинались ссоры и крики, когда кто-то извлекал кусок мяса из горшка соседа! Но был один спасающий плюс во всей этой картине – негодование слуг, которые работали в «Астории». Они были слугами, хотя назвались товарищами, и они остро чувствовали неравенство: Революция для них была не простой теорией, которая будет осуществлена в последующие годы. Это было живое дело. В один из дней я осознала это.

Пайки распределялись в Комиссариате, но забирать их нужно было самим. Однажды, когда я стояла за пайком в длинной очереди, девушка-крестьянка вошла и попросила уксус. «Уксус! Кто это заказывает такую роскошь?», – закричали несколько женщин. Оказалось, что девушка была служанкой Зиновьева. Она говорила о нем как о своем хозяине, который работал очень много и был, разумеется, наделен правом на кое-какое дополнительное питание. Сразу буря негодования нарушила спокойствие. «Хозяин! Это – то, ради чего мы свершили Революцию, или же она должна была покончить с хозяевами? Зиновьев – не больше, чем мы, и у него нет права получать больше нашего».

Эти работницы были грубыми, даже жестокими, но их чувство справедливости было инстинктивным. Революция для них была чем-то жизненно важным. Они видели неравенство на каждом шагу и ожесточенно негодовали на это. Я был встревожена. Я стремилась уверить себя, что Зиновьев и другие лидеры коммунистов не будут использовать свою власть ради эгоистической выгоды. Это из-за нехватки еды и недостаточно эффективной организации невозможно было накормить всех досыта, и конечно блокада, а не большевики, была в ответе за это. Союзники – интервенты, которые пытались задушить Россию, были причиной.

Каждый из коммунистов, которых я встречала, повторял эту мысль; даже некоторые из анархистов настаивали на этом. Небольшая группа, противопоставившая себя советскому правительству, не была убедительна. Но как примирить эти объяснения с теми рассказами,

которые я узнавала каждый день – о систематическом терроре, безжалостном преследовании и подавлении других революционных элементов?

Другое обстоятельство, которое озадачивало меня, было то, что, рынки были завалены мясом, рыбой, мылом, картофелем, даже ботинками, всякий раз, когда распределяемые нормы на них иссякали. Как эти продукты и вещи попадали на рынок? Все говорили об этом, но никто, казалось, не знал. Однажды я была в часовой мастерской, когда туда зашел солдат. Он заговорил с владельцем на идише, сказав, что только что вернулся из Сибири с грузом чая. Не взял бы часовщик пятьдесят фунтов? На чай был огромный спрос в это время – но лишь привилегированное меньшинство могло позволить себе такую роскошь. Конечно, часовщик захотел взять чай. Когда солдат ушел, я спросила владельца магазина, не думал ли он, что это довольно опасно: проворачивать такой незаконный бизнес так открыто. Я, случайно понимаю идиш, – сказала я ему. Разве он не боится, что я сообщу о нем? «Это – ничего», – мужчина ответил беспечно, «ЧК знает все об этом – они имеют свой процент и с солдата и с меня».

Я начала подозревать, что причина большей части зла была и в самой России, а не только за ее пределами. Но и тогда я пыталась возражать себе: полицейские служащие и детективы берут взятки повсюду. Это – общая болезнь их породы. В России, где нехватка еды и три года голодания должны были превратить большинство людей в мошенников, воровство неизбежно. Большевики пытаются подавить это железной рукой. Как их можно обвинять? Но как я не старалась, я не могла заставить свои сомнения замолчать. Я на ощупь искала какую-либо моральную поддержку, надежное слово, для того, чтобы пролить свет на тревожащие вопросы.

Мне пришла в голову мысль написать Максиму Горькому. Он мог бы мне помочь. Я напомнила ему о его собственной тревоге и разочаровании, с которыми он столкнулся, посетив Америку. Он приехал туда, веря в ее демократию и либерализм, а нашел фанатизм и недостаток гостеприимства вместо этого. Я чувствовала уверенность, что Горький поймет эту борьбу, продолжающуюся во мне, хотя причина уже другая. Увидится ли он со мной? Два дня спустя я получила короткую записку-просьбу, чтобы я позвонила.

Я восхищалась Горьким много лет. Он был живым подтверждением моей веры в то, что творческий художник не может быть подавлен. Горький, сын народа, пария, стал одним из самых больших гениев в мире. Горький, кто своим творчеством, своим глубоким человеческим сочувствием сделал социального изгоя родным нам. В течение многих лет в своих поездках по Америке, я раскрывала гений Горького американским людям, объясняя величие, красоту, и гуманность писателя и его трудов. Теперь мне предстояло увидеться с ним, и с его помощью получить представление о сложной душе России.

Я нашла парадный вход его дома заколоченным, казалось, что нет никакого способа войти внутрь. Я почти уже отчаялась, когда женщина указала мне на черную лестницу. Я поднялась очень высоко и постучала в первую же дверь, которую увидела. Она резко открылась, на мгновение, ослепив меня потоком света и паром от перегретой кухни. Меня проводили в большую столовую. Там было темно, холодно и уныло, несмотря на зажженный камин и большую коллекцию голландского фарфора на стенах. Одна из трех женщин,

которых я заметила на кухне, села за стол рядом со мной, делая вид, что читает книгу, но все время наблюдая за мной уголком глаза. Так прошло полчаса неловкого ожидания.

Наконец появился Горький. Высокий, изможденный, кашляющий, он выглядел больным и утомленным. Он проводил меня в свой полутемный кабинет, который выглядел угнетающе. Едва мы уселись, как дверь распахнулась и другая молодая женщина, которую я до этого не видела, принесла ему стакан темной жидкости, очевидно, какое-то лекарство. Тут же начал звонить телефон; несколько минут спустя Горького вызвали из комнаты. Я поняла, что я не смогу в таких условиях поговорить с ним. Вернувшись, он, должно быть, заметил мое разочарование. Мы согласились отложить наш разговор, пока представится возможность общения в более спокойной обстановке. Он проводил меня до двери, заметив, «Вы должны посетить Балтфлот. Кронштадтские моряки – почти все инстинктивные анархисты. Вы нашли бы поле для своей деятельности там». Я улыбнулась. «Инстинктивные анархисты?» Я сказала: «это означает, что они являются неиспорченными предвзятыми понятиями, бесхитростными, и восприимчивыми. Это – то, что Вы подразумеваете?».

«Да, именно это я подразумеваю», – ответил Горький.

От беседы с Горьким у меня осталось чувство подавленности. Не более удовлетворительной была и вторая встреча – во время моей первой поездки в Москву. Тем же самым поездом поехали Радек, Демьян Бедный, популярный большевистский стихоплет, и Цыперович, тогдашний глава петроградских профсоюзов. Мы все оказались в одном вагоне, который предназначен для большевистских чиновников и государственных сановников, удобном и просторном. С другой стороны, «обычный» человек, не коммунист без влияния, должен был буквально с боем протискиваться в вечно переполняемые железнодорожные вагоны – это если у него был пропуск для поездки, который было получить труднее всего.

Я провела время поездки, обсуждая российские условия с Цыперовичем, доброжелательным человеком глубоких убеждений, и с Демьяном Бедным, крупным грубо-выглядящим человеком. Радек подробно и долго рассказывал разные случаи из его жизни в Германии и о немецких тюрьмах.

Я узнала, что Горький тоже ехал на этом поезде, и была рада новой возможности разговора с ним, когда он позвонил, чтобы увидеть меня. Меня в то время очень взволновала статья, появившаяся в «Петроградской правде» за несколько дней до моего отъезда. В ней рассказывалось о нравственно дефективных детях, автор настаивал на тюрьме, как способе решения проблемы. Ничто из того, что я услышала или увидела за шесть недель моего пребывания в России, не оскорбило меня так, как это жестокое и устаревшее отношение к ребенку. Я стремилась узнать, что Горький думает об этом. Конечно, он был настроен против тюрем для нравственно дефективных, но защищал исправительные заведения вместо этого. «Что Вы подразумеваете под нравственно дефективным?», – спросила я его. «Наша молодёжь – результат алкоголизма, необузданного во время русско-японской войны, и сифилиса. Что кроме моральной дефективности могло получиться из такого наследия?», – ответил он. Я утверждала, что этика меняется вместе с условиями и климатом, и что тот, кто исповедует теорию свободной воли, не может считать этику неизменным предметом. Относительно детей, их чувство ответственности примитивно, и им не достаёт духа

социальной приверженности. Но Горький настаивал, что боится распространения нравственной дефективности среди детей и что такие случаи должны быть изолированы.

Я тогда задала вопрос о проблеме, которая беспокоила меня больше всего. Преследования и террор – это все были неизбежные ужасы, или же изъян был заложен в самом большевизме? Большевики делали ошибки, но они старались делать всё, что могли – сухо сказал Горький. Ничего другого не следовало ожидать, считал он.

Я вспомнила одну из статей Горького, напечатанную в его газете «Новая Жизнь», которую я прочла в тюрьме Миссури. Это было уничтожающее обвинение большевиков. Должно быть, были сильные причины так кардинально изменить точку зрения Горького. Возможно, он прав. Я должна ждать. Я должна изучить ситуацию; я должна постичь факты. Прежде всего, я должна сама увидеть большевизм на практике.

Мы заговорили о драматургии. Во время моего первого визита, в качестве знакомства, я показала Горькому вырезку из газеты – объявление о цикле лекций по драматургии, которые я давала в Америке. Джон Голсуорси был среди тех драматургов, которым я посвятила свои тогдашние лекции. Горький выразил удивление, что я считаю Голсуорси большим художником. По его мнению, Голсуорси не мог быть сравнен с тем же Бернардом Шоу. Я не согласилась. Я не недооцениваю Шоу, но Голсуорси – большой художник. Я нашла Горького раздраженным, и поскольку его сухой кашель продолжался, я прервала обсуждение. Он скоро ушел. От беседы с Горьким у меня осталось удручающее впечатление. Она ничего не дала мне.

Когда мы подъехали на вокзал в Москве, мой компаньон, Демьян Бедный, исчез, и я осталась на платформе со всеми своими пожитками. На мое спасение появился Радек. Он вызвал носильщика, посадил меня с багажом в ожидавший его автомобиль и настоял, чтобы я приехала в его квартиру в Кремле. Там я была любезно принята его женой и приглашена на обед, поданный их горничной. После этого Радек взялся за трудную задачу поселить меня в гостинице «Националь», известной как Первый Дом Моссовета. Несмотря на все его влияние, потребовалось несколько часов, чтобы получить комнату для меня.

Роскошная квартира Радека, служанка, роскошный обед казались странными в России. Но дружеское беспокойство Радека и гостеприимство его жены были приятны мне. Кроме Зориных и Шатовых я больше не встречала такого отношения. Я чувствовала, что доброта, симпатия, и солидарность были все еще живы в России.

Версия #1

██████████ ██████████ создал 11 апреля 2025 11:19:41

██████████ ██████████ обновил 11 апреля 2025 11:19:53